Фонвизин Д. И. Собрание сочинений: В 2 т. / Сост., подг. и коммент. Г. П. Макогоненко. М.; Л., 1959.
Шапиро А. Л. Русская историография с древнейших времен до 1917 г. М., 1993.

М. Б. Свердлов. Н. И. Новиков как историк России древней и новой

Статья посвящена анализу взглядов Н. И. Новикова на состояние России в древней и новейшей ее истории в контексте его биографии и издательской деятельности.
Ключевые слова: Н. И. Новиков, нравы, патриотизм, издательская деятельность, журналы, исторические источники.

M. B. Sverdlov. N. I. Novicov as a historian of old and new Russia

The article is devoted to analysis of N. I. Novicov's views at a state of Russia in old and recent periods of its history in context of his biography and publisher's activity.
Key words: N. I. Novikov, manners, patriotism, publisher's activity, journals, historical sources.

Свердлов, Михаил Борисович — д. и. н., главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, профессор Российского государственного университета им. А. И. Герцена.
Sverdlov, Michail Borisovitch — Dr. of Sciences (History), chief researcher, St Petersburg Institute of History, Professor, Russian State Pedagogical University.
E-mail: sverdlovmb@mail.ru

УДК 82–94
DOI: 10.24411/2311-603X-2018-00082

В. Г. Вовина-Лебедева

Попытка самоанализа: о несостоявшихся мемуарах В. М. Панеяха

Общеизвестно, что мемуары, как и письма, — один из наиболее сложных для использования исторических источников, особенно если они писались в конце жизни мемуариста. У В. М. Панеяха остались мемуары, вернее, попытка мемуаров, которую он назвал «Вспышками памяти». Панеях писал их незадолго до смерти и, начав писать, забросил, поскольку считал, что у него ничего не получилось. Однако текст не был уничтожен, и сохранился в архиве В. М. Панеяха, поступившем на хранение в СПбИИ РАН. Поэтому мы должны отнестись к тому, что осталось, именно как к попытке мемуаров, к их началу. Большая часть того, что было написано, относится к детству и юности. Даже университетские годы не описаны полностью. Как покажем ниже, видимо, это не случайно.

Многое из того, что попало в мемуары, друзья, коллеги и ученики В. М. в последние годы жизни слышали от него устно. Иногда это были более полные рассказы, чем то, что вошло в письменный текст. Иногда — наоборот. Во всяком случае, теперь ясно, что В. М., с одной стороны, проговаривал свой текст, испытывал его на слушателях, с другой — излагал устно уже написанные фрагменты, отчего они были очень четко сформулированы и воспринимались как готовые устные новеллы. Ясно также и то, что В. М. отбирал для обнародования только то, за что мог ручаться, или что считал важным. Он свободно писал о том, что относилось к нему самому, но, как представляется, предпочитал не писать некоторые вещи о других, опасаясь быть неточным. Возможно, в этом и заключалась причина того, что мемуары были им начаты, но не закончены. В. М. был

всегда очень критичен к себе. Кроме того, он прекрасно понимал, что любой источник нуждается в критике; в данном случае это была бы самокритика.

Тут мы подходим к вопросу о том, каждый ли должен писать мемуары. Мы знаем, что часто лучшими авторами их становятся те, кто был рядом с выдающимся человеком (или людьми) — ученым, художником и т.д., а сами они воспоминаний так и не оставили. Разумеется, есть исключения. Известно, что Р. Ш. Ганелин, друг В. М. со студенческих лет, упомянутый в его мемуарах, был замечательным рассказчиком. Его книга «Советские историки: о чем они говорили между собой»[1] — это, в каком-то смысле, тоже мемуары. И если сравнить ее и «Вспышки памяти» В. М., то выступят различия, отражающие различия личностей Р. Ш. и В. М. Текст книги Р. Ш., безусловно, более ярок, и мемуары В. М. на этом фоне кажутся суховатыми, хотя он был эмоциональным человеком. Но В. М. всегда во всех своих работах стремился скорее к точности, чем к образности. Он неоднократно говорил автору этой статьи, что Р.Ш. кое-что напутал в деталях, но не хотел это признать и внести исправления. Это, как кажется, очень заботило В. М. как мемуариста. Ему было в высшей степени присуще чувство ответственности: писать и говорить (но особенно писать!) только то, что четко помнил, хорошо понимал, в чем был уверен. Такое впечатление, что он подходил к писанию воспоминаний как ученый, который поставил себе задачу оставить качественный источник для будущих исследователей.

В качестве примера можно посмотреть, как В. М. описал событие, которое врезалось в память всем современникам, нескольким поколениям — начало войны. Это краткая зарисовка, но очень выразительная, даже в деталях. Именно детали и делают ее ценным источником: маленький мальчик с цветами, встречавший тетю, шоколадка, полученная в обмен на букет. Обычай (уже ушедший в прошлое) дарить цветы при расставании, другие детали довоенного быта, например в сюжете о еде в родительском доме, и пр.

В тексте В. М. можно найти скупые и точные, и именно потому и ценные, описания деталей быта не особенно состоятельной ленинградской интеллигентной семьи. В этих деталях (например упоминание о том, что ели дома) автор был уверен, как и в большинстве своих воспоминаний, относящихся к детству, поэтому смело вставлял их в ткань повествования. Так же уверенно он вспоминал места, где жил когда-то: довоенный Ленинград в Невском районе и вокруг Старо-Невского проспекта, Саратов и Казань военных лет. Если же что-то, даже небольшая деталь, вызывали вопросы, если в чем-то В. М. не был полностью уверен, даже в том, что не имело, казалось, значения для сути дела, В. М. педантично эти вопросы ставил в круглых скобках, которые мы и воспроизводим в идущей ниже публикации.

Стремление к честности и объективности, о котором как об основном свойстве В. М. Панеяха-мемуариста уже упоминалось выше, вело его и к не совсем обычному в мемуарах строгому отношению к образу близких людей, родственников, к стремлению максимально честно и откровенно описать мотивы их

помыслов и действий. Так, анализируя отношение своего отца к пакту Молотова–Риббентропа, В. М. написал: «Думаю, что ненависть папы к нацистской Германии подогревалась сообщениями о терроре там, направленном против евреев». Огромное влияние на В. М. в период его взросления оказал двоюродный брат историк Лев Ефимович Кертман. Именно ему мы, возможно, обязаны тем, что В. М. стал профессионально заниматься историей. Л. Е. Кертману уделено много места в мемуарах В. М. Но при всем уважении и любви к своему старшему брату В. М. посчитал невозможным скрыть то, что в дальнейшем у него возникли «принципиальные расхождения» с Л. Е., к изложению которых он собирался еще вернуться. Остается лишь сожалеть о том, что этого возвращения не случилось, тем более что в архиве В. М. сохранились его письма, адресованные Кертману, в которых описывается обстановка в ЛОИИ за долгие годы, а также соображения по поводу событий, происходящих в исторической науке.

Особенно хочется обратить внимание читателей на то, как В. М. описал послевоенный Ленинград. Фактически он показал его через рассказ о своей школе и учительнице литературы, поверившей в него. Этот рассказ он неоднократно воспроизводил устно; было видно, что слова и поступок этой женщины навсегда врезались в его память. В. М. вообще умел был благодарным и помнил добро, которое видел от людей, что не мешало ему быть критичным в отношении к ним вне зависимости от степени родства или дружбы.

В. М. рассказал о своей школьной компании и друзьях. Устно он говорил о них подробнее, и мне очень жаль, что эти подробности сейчас немного стерлись из моей памяти. Но с другой стороны, думаю, правильно, чтобы сохранились лишь те части воспоминаний, которым строгая авторская и редакторская рука В. М. дала жизнь.

Критическое и требовательное отношение к себе как к мемуаристу особенно проявилось, когда В. М. приступил к рассказу о своих студенческих годах. Это было непросто, как видно из текста. В. М. учился в тяжелые с идеологической точки зрения годы, и скупо, но точно описал атмосферу, царившую на историческом факультете Ленинградского университета. Он встречал многих людей, к которым относился по-разному. Его юношеские оценки иногда были максималистски поверхностны, и В. М. — мемуарист спустя годы осознавал это. Например, это видно в его рассказе о собрании, на котором В. М. выступил, и где вину взяла на себя секретарь комсомольской организации. В. М. записал разговор, который случился у него после собрания с одним из старшекурсников, который сказал, что ему жаль ее, так как она «приличный человек». И далее В. М. признался, что не понимал тогда, в каком сложном положении находилась героиня этого его рассказа.

Под пером В. М., таким образом, мир истфака 1950-х гг. был показан сложным и неоднозначным. Даже те люди, с которыми у него были хорошие отношения в течение всей жизни, попали под пристальный критический взгляд. В. М. и здесь во многом повторил то, что рассказывал устно. Но создается

впечатление, что в письменном тексте он опасался написать что-нибудь не совсем точное. Он даже упомянул, что уже допустил одну такую ошибку, описывая в книге о Б. А. Романове поведение некоторых коллег во время заседания против космополитизма в университете в апреле 1949 г.

Возможно, именно поэтому лишь о двух людях, с которыми его близко столкнула судьба, он написал более подробно: это Владимир Васильевич Мавродин и Борис Александрович Романов. С В. В. Мавродиным уже после окончания университета В. М. тесно сотрудничал во время работы над многотомной «Историей пугачевского восстания». В устных своих рассказах В. М. всегда характеризовал В. В. Мавродина как человека порядочного (лишь под давлением обстоятельств вынужденного иногда идти на компромиссы), что для В. М., обладавшего строгим, даже каким-то античным пониманием морали, было главной характеристикой человека. Но следом за ней у него всегда шла оценка коллеги как ученого. И мне припоминаются рассказы В. М. об А. А. Зимине, одном из любимых его друзей, который считал, что человек и ученый должны сочетаться в одном лице, и В. М. даже цитировал слова А. А. об одном из коллег — о том, что тот «замечательный человек, а значит, настоящий ученый». Сам В. М. такого взгляда не придерживался, и в людях, его окружающих, человека и ученого всегда разделял. Так, и оценка В. В. Мавродина у него была неоднозначной. С одной стороны, В. М. отмечал, что «к В. В. Мавродину студенты относились хорошо, его, пожалуй, любили. Он был легко доступен, охотно шел навстречу пожеланиям студентов, был добр», при том что «в его работе как декана сквозило некоторое безразличие». С другой стороны, его общий курс по русской истории с древности до XVIII в. «был неинтересен и поверхностен», а «попытка профессора оживить изложение внешними эффектами усиливала убеждение в том, что этот курс неглубок» и что в нем «отсутствовало представление об истории как науке, в которой сталкивались идеи, концепции». Однако при описании гонений на В. В. Мавродина В. М. целиком встал на его сторону, сочувствуя и сожалея, хотя и не отказавшись от прежней оценки научного творчества В. В.: «В. В. Мавродин был уволен из университета и потерял тем самым городское служебное жилье во дворе университета <...> Хорошо, что у него была дача в Зеленогорске, где и стала жить его семья. На один год он уезжал работать в Петрозаводск, но это ему не помогло. В. В. Мавродин был исключен из партии и уволен отовсюду. Думаю, у него были денежные запасы, т[ак] к[ак] он много занимался “отхожим промыслом” — писал и издавал популярные книги, не глубокие и во многом повторяющиеся».

Писать о Б. А. Романове было, видимо, и легко, поскольку о нем уже была написана книга, но, по этой же причине, одновременно и трудно. Следовало отделить то, что он уже знал о своем учителе как историк науки, от собственных воспоминаний юношеской поры. Возможно, именно поэтому на начале раздела о Б. А. Романове и оборвались воспоминания В. М. Но он успел написать о первом впечатлении от встречи с учителем, и это дорого для нас. У каждого, прочитавшего как книгу, так и мемуары В. М., останется в памяти человек «невысокого роста, хорошо сложенный, в так называемом чеховском пенсне, с коротко стриженными седеющими усами, коротко подстриженной, едва намеченной узкой полоской бороды, идущей от нижней губы, по сторонам которой подбородок был гладко выбрит; коричневая деревянная трость лежала своим изгибом на согнутой в локте руке», который, «галантно попросив разрешения у студенток, постоянно курил, в заключение попросив, чтобы к его приходу на столе всегда была пепельница, а у каждого студента — экземпляр учебного пособия по “Правде Русской”». А потом — начал говорить так, что присутствующие перестали обращать внимание на внешность, и даже не заметили звонка на перерыв. Только после знакомства с Б. А. Романовым, по выражению В. М., его пребывание на истфаке «приобрело осмысленность», а в жизни открылся новый период. Написать об этом лучше, чем это сделал сам В. М., вряд ли возможно, но характерно, что при всем преклонении перед учителем, В. М. посчитал необходимым написать по поводу одного из высказываний последнего: «Б. А. возможно был неправ».

Если мы сопоставим текст монографии В. М., посвященной Б. А. Романову[2], с коротким сюжетом о последнем в мемуарах В. М., можно заметить, что в книге В. М. старался опираться преимущественно не на собственные воспоминания об учителе, а на другие источники, и одним из главных была переписка Б. А. Романова с Е. Н. Кушевой, впоследствии изданная самим В. М. Это касается даже тех периодов, когда В. М. описывал тот период жизни Б. А. Романова, когда они уже были знакомы. Таким образом, книга и мемуары почти не пересекаются, за исключением одного сюжета: рассказа о первом знакомстве с учителем. И в книге, и в публикуемом ниже тексте мемуаров этот рассказ практически совпадает (за исключением некоторых мелких расхождений), что отмечено нами при его воспроизведении. Вопрос о том, какой из вариантов был первичен, решается сразу, поскольку, по сообщению дочери В. М., он работал над мемуарами в последний год жизни, т.е. через много лет после выхода из печати книги о Б. А. Романове. Остается принять, что по какой-то причине В. М. полностью вставил в них страницу текста из уже опубликованной книги, возможно, предполагая позднее расширить или переработать ее.

В публикуемом ниже тексте сохранена орфография, пунктуация и все стилистические особенности оригинала. Примечания по воспроизведению текста даны в конце. Пропущенные слова, необходимые для понимания смысла предложения, даны в квадратных скобках.

В. М. Панеях. Вспышки памяти

Моя память обладает странными свойствами. Я, например, хорошо помню деревянный дом за Невской заставой на проспекте села Смоленского (ныне проспект Обуховской обороны), в котором мы жили на втором, последнем этаже до декабря 1934 г., расположение комнат, лестничную площадку, где женщины и моя мама, в том числе, стирали белье. А ведь я в нем с тех пор не бывал, не говоря уже о том, что во время ленинградской блокады этот дом, как и соседние, был разобран на дрова. Запомнился и тот момент, когда я, гуляя во дворе с няней, увидел маму, которая выскочила во двор в одном халате и закричала: «Убили Кирова!» Вероятно, она стирала, ее руки были в мыльной пене. Позднее я осознал, что это было 1 декабря 1934 г. Впрочем, я смутно помню день, когда мама подошла к моей кровати и сказала: «Сегодня тебе исполнилось 3 года».

Я неплохо помню уже другую квартиру, куда мы переехали на Старо-Невский проспект в том же декабре 1934 г., накануне Нового года. Во всяком случае, у нас в новой двухкомнатной квартире, где собрались семьи папиных сослуживцев по Катушечной фабрике, получивших квартиры в том же доме, встречали Новый, 1935-й год. Смутно помню скандал между родителями из-за того, что мама настаивала на необходимости сжечь какие-то книги, а папа кричал, что тогда надо предать огню собрание сочинений (третье) Ленина т.к., я понял потом, издание выходило под редакцией Л. Каменева, только что расстрелянного среди других бывших высших руководителей партии, которое всё же сохранилось и досталось мне. Что-то все-таки было сожжено в плите на кухне.

В это время (вероятно, в 1938 г.) (то есть мне было 8 лет) я впервые соприкоснулся с политикой. Папа принес знаменитую в то время книгу Л. Фейхтвангера «Москва 1937 года». Я ее прочитал и донимал родителей вопросами: как может быть, что у Сталина нет в Кремле спальни и он спит в какой-то нише в кабинете? Почему соратники Ленина оказались шпионами и вредителями? Они как-то заговаривали мне зубы. Тогда же я стал читать по секрету от родителей газетные «стенограммы» политических процессов. Это окончательно сбило меня с толку, т.к. объяснить 8-летнему ребенку ничего было невозможно.

Вал репрессий косвенно отразился и на нашей семье. На «Катушечной фабрике», где мой отец работал начальником планового отдела, был репрессирован директор и еще кто-то из руководящего состава, и мама в ультимативной форме потребовала, чтобы он ушел оттуда. Папа устроился на какое-то мелкое предприятие и стал получать значительно меньшую зарплату. Само собой, наше материальное положение резко упало. Правда, папа устроился еще в какой-то техникум читать экономические дисциплины, а мама кроме дневной школы, где она преподавала русский язык и литературу, стала по вечерам работать в школе для взрослых (?)[3].

До войны мы были довольно стесненными в средствах. Помню, что обычной едой был хлеб с маслом. Ни колбасы, ни сыра, кажется, не было в обычном

меню. Начавшаяся в ноябре 1939 г. Финская («Зимняя») война погрузила Ленинград в полную тьму, хотя налетов не было, зато часто объявлялись учебные тревоги. Распространялись фантастические слухи о финских шпионах, которые, якобы, открывали люки на улицах, чтобы люди проваливались в них. Мои родители воспринимали их скептически и не предостерегали меня.

Папу едва ли не каждый год вызывали на военные лагерные сборы, иногда длительные. Сохранилась фотография, на которой сняты мы втроем, папа при этом в военной форме с петлицами, на которые прикреплены два кубика (лейтенант?). Это фото имплицитно предвосхищало большую войну[4].

Когда я учился в третьем (или втором?) классе, нас всех приняли в пионеры, и я кажется гордился этим.

В моей памяти хорошо запечатлелся момент начала войны. Я жил с бабушкой и дедушкой (папиными родителями) в Пушкине, где мы снимали дачу. В воскресенье 22 июня 41-го года, как всегда, приехали папа с мамой, и они сказали, что надо встретить поезд, идущий из Ленинграда в Чернигов (?)[5], на котором его сестра, моя любимая тетя, уезжала на отдых с подругой. Мы пошли на базар, чтобы купить цветы, и там услышали из включенного репродуктора знаменитую речь Молотова. Папа сказал: «Это война». Я хорошо помню, как ее ждали и как возмущались папа и мама договорами с нацистской Германией в 1939 г., визитом Риббентропа в Москву и потом Молотова в Берлин. Папа твердил, что войны всё равно не избежать. Думаю, что ненависть папы к нацистской Германии подогревалась сообщениями о терроре там, направленном против евреев.

Мы быстро добежали до вокзала, чтобы снять тетю с поезда. За минутную остановку мы только успели обменяться подарками: я сунул тете букет, она мне шоколадку. Папа с нажимом успел только прокричать: «Выходи, война». Но поезд тронулся, и родители стали кричать, чтобы она вышла в Вырице. Она вскоре вернулась в Ленинград, и меня через неделю, 30 июня (в день моего рождения, мне стукнуло 11 лет), по настоянию отца отправили в эвакуацию со школой, где я перешел в это лето в 4 класс, с тетей, которая работала там же учительницей русского языка и литературы, и мамой, тоже учительницей той же дисциплины, преподававшей в другой школе, но устроившейся туда же уборщицей, в Буйский район тогда, кажется, Ярославской области. Хорошо помню, как слушали в день приезда на место назначения (как кажется, ранним утром) речь Сталина, произнесенную 3 июля ранним утром, длительные паузы, звук графина в стакане воды, позвякивание стекла.

Примерно через два-три месяца, возможно в сентябре или октябре, мы втроем перебрались по Волге в Саратов, где жили родственники отца, который к этому времени был уже в армии на Карельском фронте. Саратов, где мы провели год и где я закончил 4 класс, запомнил топографически настолько хорошо, что, когда через 20 лет с женой и дочерью мы совершали круиз по Волге, я показывал им город, школу, где я учился, дома, где мы жили, и даже нашел могилу

бабушки на еврейском кладбище, похороненную летом 1942 г. через несколько месяцев после ее приезда из Ленинграда, где в декабре 1941 г. умер от голода дедушка и где она пережила первую блокадную зиму.

Поразительным образом у меня при этом полностью стерлись из памяти облики учителей и соучеников. Это как будто бы оказалось вырезанным из нее.

Зато очень ярко запечатлелись еженощные бомбардировки Саратова летом 1942 г., главным образом, промышленных районов, во время наступления немцев на Сталинград. Я постоянно читал статьи И. Эренбурга в саратовской газете «Коммунист» (теперь понимаю, что это были перепечатки, вероятно, из «Красной Звезды»), об этих статьях я писал папе на фронт и он со мной их обсуждал в ответных письмах (частично переписка сохранилась). В частности, папа привез с войны мое письмо, в котором я высказал свою версию о причинах задержки союзниками открытия второго фронта в Европе. Такая ранняя моя политизированность, конечно, стимулировалась войной.

В начале осени (сентября, скорее даже октября 1942 г.) по настоянию отца и благодаря его хлопотам (ведь для переезда из одного места в другое необходимо было получить пропуск (или вызов?), что было нелегко) мы переехали в Казань, где находилась в эвакуации киевская семья одной из маминых сестер, в том числе два моих двоюродных брата, старший из которых работал на танковом заводе, а младший — Лева Кертман — залечивал тяжелое ранение, полученное под Жлобином в августе 1941 г. Здесь, в Казани, он, окончивший за два года до войны истфак Киевского университета, поступил в аспирантуру к Е. В. Тарле, к которому впоследствии стал очень близок и которого считал своим учителем. Одновременно Лева стал преподавать новую и новейшую историю в казанских вузах — университете, пединституте и где-то еще. Кроме того, он часто выступал в зале Дома Красной армии с публичными лекциями о международном положении, очень популярными в Казани. В 1943 г. здесь же Лева защитил кандидатскую диссертацию. Мама, хотя и была старше Левы на 13 лет, очень дружила с ним, у них были очень доверительные отношения[6].

Лева был удивительно талантливым человеком, с исключительно сильным интеллектом, прекрасно гуманитарно образованным. Он выделялся глубоким знанием художественной литературы. Именно он научил меня понимать поэзию его кумира Бориса Пастернака. Сам Лева тоже писал стихи и был момент, когда он думал сделать это своей профессией. Лева отличался общительностью, вокруг него всегда было много интересных людей разных профессий, а он постоянно был центром этого круга. Он оказал на меня могучее влияние, особенно в отрочестве и юности, в частности, и при выборе профессии. Впрочем, позднее, когда я стал профессиональным историком, у нас появились принципиальные разногласия (об этом ниже), но нашу дружескую близость ничто не омрачало, и она прервалась только его кончиной в 1987 г. (в 70 лет).

Возвращаясь к странным свойствам моей памяти, отмечу, что абсолютно не помню казанскую школу, учеников 5 и 6 классов, учителей. Зато хорошо

запечатлелся город, расположение улиц, кинотеатры «Унион» и «Электра», номера трамваев, озеро «Кабан» в центре города, дома СК (синтетического каучука). Когда в начале 60-х гг. я приезжал в Казань на конференцию, где встретился с Левой, то оказалось, что я помню не хуже его, а в некоторых отношениях даже лучше, хотя мне было тогда 13–14 лет, а ему 25–26. Все эти свойства памяти — фотографическое запечатление многих фактов и полное выпадение важных других — я бы определил как вспышки памяти. Это обстоятельство необходимо учитывать при оценке дальнейшего.

Жизнь и в Саратове и в Казани была, конечно, тяжелой. В Саратове мама (как и тетя) начинала работать санитаркой в детской больнице (в дизентерийном отделении). Помню, как она тщательно мылась по приходе домой. Потом она еще где-то работала. В Казани мама сперва стала приемщицей в обувной мастерской танкового ремонтного завода, потом еще кем-то. Последний год (1943/1944 учебный) ее приняли на работу в школу, где она преподавала русский язык и литературу, а затем даже стала инспектором (то-ли района, то-ли города?).

Само собой, было голодновато, хотя мы получили от папы так называемый аттестат, по которому получали часть его офицерской зарплаты. Но по продуктовым карточкам выдавали мало хлеба и всякие заменители: например, вместо сахара какой-то рулет, полностью соевый и, кажется, на сахарине. Както меня прикрепили на месяц к столовой для детей военнослужащих, куда я ходил обедать.

Папа в это время на Карельском фронте боролся за перевод на такой фронт, который не стоял бы на месте, а перешел уже в наступление. С большим трудом ему удалось добиться перевода в начавшую наступать армию. Кажется, это был Степной фронт, позднее переименованный в 3-й Украинский. Впервые папа попал в полностью разрушенный город Воронеж, откуда наступал с армией через Румынию в Венгрию и даже частично Австрию.

Весной 1944 г. неожиданно он на пять дней приехал в Казань. Радость была невероятная, конечно. Но папа уехал расстроенным. Он не представлял, как мы живем, поскольку и в маминых, и в моих письмах не было жалоб на тяжесть жизни; напротив, мы писали, что у нас всё хорошо. После этого папа стал посылать нам продовольственные посылки, частично из своего офицерского доп. пайка, частично купленные на Украине, потом в Румынии и Венгрии.

Незадолго до приезда папы я вступил в комсомол, как кажется, мне еще не исполнилось необходимых 14-ти лет. По-моему, папа встретил это известие без энтузиазма. После окончательного освобождения Ленинграда от блокады мама стала хлопотать о вызове и трудоустройстве по специальности. Странным образом вскоре она получила ответ и вызов. Мы вернулись летом 1944 г., кажется в августе. Вскоре неожиданно на несколько дней приехал с фронта папа. Помню, что он торопился вернуться на фронт, опасаясь, что отстанет от своей части, т.к. Красная Армия стремительно наступала, и папа догнал ее

в Румынии[7]. Вернулся он домой, демобилизовавшись в феврале 1946 г. До реэвакуации я учился неплохо, но в Ленинграде, поступив в 7-й класс 155 школы Смольнинского района, я съехал с тормозов и едва переполз из класса в класс. Мне интереснее были компании, появились девочки из соседней (женской) школы и начавшиеся бурные романы.

Семья у меня была сугубо гуманитарная. Мама прекрасно знала русский язык и предпочитала преподавать именно его, а не литературу, а папа — экономист-практик (он закончил экономический факультет Саратовского университета), но тоже с гуманитарным уклоном, особенно в области истории. Он покупал много книг именно исторических, и мне досталась эта библиотека, несколько хаотическая и никак не систематизированная.

Несмотря на то, что учился я отвратительно, с репетиторами, читал много. Вся классика (и русская и отчасти западная) была освоена мной именно в это время. Особенно я увлекался поэзией серебряного века и хорошо знал, даже наизусть, таких к этому времени полу-запретных авторов, как Ахматова, Пастернак, Есенин, не говоря уже о Блоке, Маяковском и др.

Военный Ленинград летом 1944 г. отличался малолюдством и многими разрушениями. И то и другое не было неожиданным. Впрочем, развалины быстро старались зашить фанерными листами, на которых были нарисованы окна. Город довольно быстро заполнялся возвращающимися из эвакуации и выписывавшимися из госпиталей ранеными. Много было безногих и безруких, иногда передвигающихся на самодельных колясках, снабженных подшипниковыми колесиками. Снабжение города продуктами питания было налажено неплохо. Нормы выдачи по карточкам были повышенными по сравнению с теми городами, в которых мы жили в эвакуации. Раньше мне казалось, что полуголодное состояние не скоро удастся преодолеть. На практике же оказалось, что чувство голода отступило довольно быстро.

В школе № 155 Смольнинского района, куда я поступил в седьмой класс осенью 1944 г., еще не было десяти классов, старшим был восьмой класс, а я поступил в седьмой. Очень быстро я подружился с Олегом Скуратовым, прожившим всю блокаду в Ленинграде, где он устроился поваренком и потому выжил. Во время блокады он пропустил учебу в школе, кажется, два года. Настолько он был старше меня, но это не мешала нашей крепкой дружбе, мы просидели на одной парте три года, пока я не покинул эту школу. Вскоре мы установили контакты с соседней женской школой (№ 156?), из нас составилась дружеская компания: мы с Олегом и из женской школы Инна Генкина, Галя Маршова, Тамара Каган. Конечно, закрутились романы: между Олегом и Галей, во-первых. При этом я был влюблен в Инну, с которой я учился еще до войны в одном классе, и которая была, как и я, эвакуирована со школой; но она была влюблена в Олега; в меня же — Тамара. Вся эта коллизия не помешала нам дружить, вместе проводить время, бывать друг у друга, в том числе, на днях рождения.

В апреле 1944 г. у меня родился брат, маме было 42, почти 43 года, и, само собой разумеется, что родителям было не до меня, и я остался в 9 классе на второй год. Двойки, которые были поставлены по предметам физико-математического цикла, вполне соответствовали моим знаниям (вернее, незнанию), но очевидно, школе я так надоел с моими всякими выходками, что неудовлетворительные оценки по другим дисциплинам, в том числе даже по истории, которую я хорошо знал, вероятно, не хуже учительницы (что впоследствии подтвердилось), были выведены для того, чтобы избавиться от меня. Только преподаватель литературы, Софья Николаевна Иванова, относилась ко мне вызывающе (по отношению к коллегам) хорошо. Конечно, и она могла ждать от меня какого-нибудь подвоха. Так, вскоре после опубликования в августе 1946 г. партийного разноса Ахматовой и М. Зощенко она, направляясь в класс и встретив по дороге меня, сказала: «Я очень прошу Вас, Виктор, не задавайте, пожалуйста, вопросов об этом постановлении». «Что Вы,— ответил я ей,— у меня даже мысли такой не было» — и это была сущая правда. Ее давно уже нет в живых, и только недавно я случайно узнал, что муж С. Н. Ивановой был репрессирован в 30-х годах и о его судьбе она ничего не знала. Вероятно, он был расстрелян. Когда я пришел к Софье Николаевне в учительскую прощаться, полагая, что она там одна, после того, как я забрал свои документы из 155-й школы, она при других учителях, четко, как всегда, выговаривая слова, сказала: «Я в Вас верю, Виктор, желаю благополучия. Уверена, что у Вас всё будет хорошо». Через несколько лет, когда я уже завершил учебу в университете, мне захотелось, не заходя в школу, встретиться с нею, и мне это удалось. Мы обрадовались этой встрече, и она повторила то, что заявила 6 лет назад: «Я ведь говорила, что я в Вас верю».

Забрав документы из детской школы, я надеялся на то, что мне удастся как-то избежать второгодничества, и выход был найден: я поступил в 10 класс школы рабочей молодежи, заявив, что документы за 9 класс утеряны. Почему-то мне поверили и предложили сдать вступительные испытания за программу 9 класса, что я не без трудностей преодолел, предварительно готовясь в течение лета 1947 г.

Таким образом, я кое-как проучился в выпускном классе и получил аттестат о среднем образовании. И опять тут проявилось мое странное свойство памяти: из всех одноклассников я помню только одного, даже его фамилию, возможно, потому, что он был бывшим летчиком, сбитым одним из первых немецких реактивных истребителей.

Относительно дальнейшего у меня не было ни малейших колебаний, и документы были сданы в приемную комиссию истфака ЛГУ. Вступительные экзамены по истории я сдал не блестяще, на четверку, т.к. принимала его преподавательница кафедры истории партии (с нею я потом не пересекался), которая въедливо спрашивала об апрельских тезисах Ленина и, в конечном счете, запутала меня. Зато очень хорошую оценку получил за экзамен по устной литературе. Ответ был особо отмечен преподавателем. Он же удивился тому, что

за сочинения была выставлена только четверка. Он тут же посмотрел его, показал, что не было орфографических и пунктуационных ошибок, подчеркнута была одна стилистическая ошибка, которую экзаменатор посчитал не абсолютной. «Это спорно», — сказал он. В результате, я всё же поступил, вскочив на подножку последнего вагона. Это был 1948 год.

Исторический факультет ЛГУ (1948–1953)

На историческом ф-те я попал в совершенно новый, неизвестный мне мир. На нашем курсе было более 180 человек. На предыдущем — 250, на 3-м курсе более 350-ти. Такие приемы объяснялись наплывом послевоенного периода, в том числе бывших фронтовиков, недостатком кадров специалистов. Впоследствии прием на истфак сокращался и в конечном счете едва переваливал за 50 человек. Специфика истфака этого времени состояла в том, что были две особые группы, на которые брали в результате специфического отбора мандатными комиссиями: историки партии и историки международных отношений. Студенты-историки партии сразу проявили себя как яркие комсомольские активисты и быстро завладели постами в общественных организациях.

Репутация этой группы в студенческих массах была не блестящей[8], но их формальная роль в коллективе оказалась лидирующей, особенно они отличались в конфликтных ситуациях, которые ими, как правило, инициировались и [которым] придавали идеологическую окраску. Они очень охотно перенесли на студенческий уровень проработочные кампании, обострившиеся на истфаке, вероятно, с конца 1948 г. (но для меня это стало понятно в начале 1949 г.).

Я довольно быстро установил контакты с Борисом Ананьичем, Аполлоном Давидсоном, Виктором Корчным. Виктор был уже довольно известным шахматистом, с которым связывались надежды, но он еще был кандидатом в мастера. Он часто ездил на соревнования и, приезжая, показывал мне на карманных шахматах свои партии. Это происходило, как правило, на общих лекциях. На нашем курсе (и даже в группе, в которой я оказался) учились студенты, ставшие впоследствии известными учеными. Назову, кроме Ананьича и Давидсона, Леру Андрееву (ныне Нардову), Руслана Скрынникова, Валю Чернуху, Юру Соловьева, Лику Мельниченко (Купайгородскую), Толю Кирпичникова, Игоря Хлопина.

На первом курсе читали лекции известные ученые — историк Древнего Востока академик В. В. Струве, член-корр. АН СССР археолог В. И. Равдоникас, профессор В. В. Мавродин, С. И. Ковалев, доцент (потом профессор) К. М. Колобова. Она же вела просеминарий по истории античности, показавшийся мне неинтересным, весьма начетническим. Вообще, на первом курсе никто из преподавателей-лекторов, как мне кажется, не блистал. Лекции В. В. Мавродина, читавшего общий курс по русской истории с древности до XVIII в. были неинтересны и поверхностны. Попытка профессора оживить изложение внешними

эффектами усиливала убеждение в том, что этот курс неглубок. Отсутствовало представление об истории как науке, в которой сталкивались идеи, концепции.

Впрочем, к В. В. Мавродину студенты относились хорошо, его, пожалуй, любили. Он был легко доступен, охотно шел навстречу пожеланиям студентов, был добр. В его работе как декана сквозило некоторое безразличие. Это я потом уловил. При этом он старался привлечь к работе на истфаке лучшие силы. Но общая тяжелая политическая обстановка мало кому позволяла развернуться. Поэтому на факультете появились весьма слабые и в политическом отношении неприятные преподаватели — С. С. Степанищев, И. Расенко, С. А. Уродков, М. Кузьмин, А. Корнеев. Кто их привел на истфак, я не знаю, но ответственность за них нес В. В. Мавродин как декан. Само собой, тяжелым испытанием для меня были обязательные лекции по основам марксизма-ленинизма, диамату и истмату, политэкономии социализма и т.д. Преподаватели по этим дисциплинам были, как правило, начетчиками и политически опасными.

Мое отношение к истфаку резко изменилось, когда через месяц после начала учебного года в группе, в которой я случайно оказался, просеминар по Правде Русской стал вести Борис Александрович Романов, ставший впоследствии моим единственным учителем. К сожалению, высшая точка в истории этого факультета осталась в прошлом, в конце XIX — начале XX в. Недаром С. Н. Валк и Б. А. Романов вспоминали об этом времени с ностальгической грустью. Именно они на факультете олицетворяли связь с тем временем.

Хорошо помню, как Б. А. Романов появился у нас в аудитории в октябре 1948 г. [9] *–Невысокого роста, хорошо сложенный, в так называемом чеховском пенсне [10], с коротко стриженными седеющими усами, коротко подстриженной, едва намеченной узкой полоской бороды, идущей от нижней губы, по сторонам которой подбородок был гладко выбрит, коричневая деревянная трость лежала своим изгибом на согнутой в локте руке. В костюме и во всем облике Б.А. ощущалась едва уловимая старомодность.

Опросив каждого из нас, какой областью истории мы хотим заниматься, записав фамилии и имена отчества и попросив впредь сидеть на тех же местах, Б. А. заговорил о задачах просеминара, о том, в каких формах он будет вестись, затем он остановился на характеристике Правды Русской. Прозвенел звонок на перерыв, потом второй звонок, возвестивший окончание занятия. Казалось, Б. А. их не слышал, а мы все, завороженные его яркой речью, метафоричностью его языка, даже и не подумали, что его можно прервать. При этом, он, галантно попросив разрешения у студенток, постоянно курил, в заключение попросив, чтобы к его приходу на столе всегда была пепельница, а у каждого студента — экземпляр учебного пособия по «Правде Русской». Обращался к нам Б. А. по имени-отчеству, и уже одно это поразило и смущало нас (лишь на втором курсе, когда я стал его учеником, часто стал общаться с ним, первоначально по телефону или на кафедре, затем — у него дома, он спросил, можно ли ему обращаться ко мне просто по имени). Занятия, которые он вел, помимо их

познавательной ценности, были чрезвычайно интересны и увлекательны[11]. Вместо положенных полутора часов они продолжались не менее трех и воспринимались как одно мгновение. Б. А. никогда никого не ограничивал временем и стимулировал всестороннее обсуждение статей «Краткой Правды» (Правды Ярослава), уважительно относился к высказыванию самых фантастических мнений. Поэтому анализ, к примеру, одной краткой статьи[12] «Краткой Правды» продолжался на протяжении нескольких занятий.

Когда же запас аргументов у студентов исчерпывался или Б.А. убеждался, что новых идей никто больше не высказывал, он подводил итоги, иногда кратко, иногда пространно, но всегда захватывающе интересно. Его речь была чрезвычайно образной и яркой, но в то же время предельно ясной. Б.А. раскрывал внутренний смысл той или иной статьи, показывал ход мыслей при ее интерпретации, привлекал при необходимости летописные фрагменты, то есть проводил на глазах у студентов исследование, комментируя его этапы и тем самым обучая технике анализа сложного источника. –**

Только с этого времени мое пребывание на истфаке приобрело осмысленность. Однако пока я еще не приобрел необходимой суммы знаний, не говоря уже об умениях. Конечно, под влиянием Б. А. я стал читать журнальные статьи и книги. Но этого было мало, чтобы влиться в когорту студентов, осознававших свое будущее. На меня решающим образом повлияло событие, связанное с первым заседанием студенческого научного кружка по истории СССР, вести которые было поручено Б. А. Он отнесся к этому весьма серьезно. Попросил у Мавродина, чтобы ему были выделены два помощника, которые и были назначены — С. Л. Пештич, специалист по XVIII в., в частности Татищеву, и вообще историографии этого времени, и О. А. Ваганов, молодой и, как говорили, подающий надежды исследователь XX в.

На первое заседание в декабре 1948 г. было намечено обсуждение вышедшей из печати серии статей Д. Н. Альшица, сотрудника рукописного отдела Публички, незадолго до этого успешно защитившего кандидатскую диссертацию. Эти статьи, опубликованные в «Исторических записках», были посвящены анализу приписок к Лицевой летописи, которые были сделаны, согласно Альшицу, Иваном Грозным. В качество докладчиков-рецензентов Б. А. предложил выступать своим ученикам, студентам третьего курса Коле Носову и Мусе Струниной. На заседание пришло много народу, в том числе преподаватели. Помню, что я едва ли не впервые увидел и услышал С. Н. Валка, А. Д. Люблинскую. Из Герценовского пединститута его доцент Я. С. Лурье привел свой кружок. Помню, что рецензенты выступили довольно критично, я бы даже сказал, въедливо. Но самое печальное, что я ничего не понял и впал в отчаянье, так как не читал статей Альшица, не был знаком с приписками и вообще обитал в других измерениях — по сравнению с теми, кто выступал с докладами и в прениях. Насколько я помню, выступавшие хвалили рецензентов, некоторые, в частности, С. Н. Валк, пытались защитить Альшица. Помню, что Люблинская, которая

по слухам была в каких-то неформальных (скажем так!) отношениях с Альшицем, говорила, хваля рецензентов, что даже на кандидатской его защите не было столь серьезных обсуждений его исследования.

В заключение пространно выступил Б. А. Романов, который, обобщив дискуссию и похвалив докладчиков, разобрал аргументы Альшица и отметил, что еще в свое студенческое время занимался этой проблемой, листал при этом том ПСРЛ и осторожно намекнул, что автором приписок мог бы быть дьяк Висковатов. Прошло лет двадцать, и я оказался в ЦГАДА одновременно с К. Носовым. Вдруг он меня подозвал и стал показывать оригинал летописи с приписками на полях и какой-то акт, скрепленный Висковатым и стал спрашивать, совпадают ли почерки. Вроде бы скрепа Висковатова и приписки к лицевой летописи были сделаны разными людьми, так что Б. А. возможно был неправ.

После этого заседания кружка я стал много читать: и монографии, и статьи в журналах (главным образом, «Вопросы истории» и «Исторические записки»). К концу первого учебного года я уже кое-как разбирался в проблематике средневековой русской истории. Но это потребовало времени, и я стал пропускать лекции, казавшиеся мне неинтересными. Очень скоро это стало причиной неприятностей на курсе и на факультете: несколько раз вызывали к зам. декана А. Н. Вигдорчик, однажды к В. В. Мавродину, который ограничился тем, что пожурил меня.

Но во втором семестре наступало тяжелое время — в стране, а, следовательно, и на факультете. Уже в 1948 г. началась и постепенно ожесточалась кампания против так называемого «низкопоклонства перед иностранщиной» как пережитком капитализма, против «буржуазного либерализма» и «антипатриотизма». Внешними проявлениями этого стало переименование знаменитого кафе на Невском пр. «Норд» в «Север», исчезновение на Невском же столовой «Еврейские обеды», превращение французского батона в городской. Когда я еще учился в 10 классе, это всё воспринималось с иронией. На первом курсе же истфака эта тенденция догоняла меня лично.

Именно в сентябре 1948 г. в газетах («Литературке», «Культуре и жизни») появились статьи с грубыми нападками на ряд историков с обвинениями в буржуазном идеализме, объективизме, в отступлении от принципов большевистской партийности в науке. Но чуткие к руководящим веяньям комсомольские активисты организовали собрание на нашем 1-м курсе с так называемой дискуссией о патриотизме и спровоцировали нашего товарища Радика Цемеринова[13] на основное выступление. Его положение на курсе было весьма шатким: он не попал на дневное отделение и оказался вечерником. Ему, якобы, обещали, что переведут на дневное, если он успешно сдаст первую сессию. Он действительно ее сдал хорошо и ждал перевода на дневное отделение. Но тут, как назло, подвернулась эта самая «дискуссия» о патриотизме. Помню, что посоветовал Радику уклониться от нее. Вероятно, я понимал, что дело не чисто. Но Радик рвался в бой, утверждая, что его без этого не переведут на дневное отделение.

Я не пошел на это заседание, но потом мне рассказали, что он молол опасную в тех политических условиях чепуху.

Результат не замедлил сказаться: он получил отрицательную комсомольскую характеристику и неблагоприятный отзыв преподавательницы истории партии, которая вела в нашей группе семинарские занятия, кажется, Сагацкая (Сагатская?). Курьез состоял в том, что у него на руках были уже другие характеристики, выданные ему за неделю до дискуссии, кардинально противоположные той, которая была выдана ему после дискуссии. Он и спрашивал меня, что делать. Я и сказал ему, чтобы он дал их мне, а я выступлю на общефакультетском комсомольском собрании в его защиту. Вскоре это собрание состоялось. Когда я зашел в лекторий истфака, у меня потемнело в глазах. Лекторий был переполнен, люди сидели везде, даже на ступеньках.

Собрание началось с доклада Фаины Цитриной, которая в это время была секретарем комитета комсомола всего истфака. Она была старше основного контингента студентов, участвовала в войне. К ней в основном относились хорошо. Потом пошли какие-то выступления от курсов, т.е. начался обычный ритуал. Тут-то я и попросил слова, и публика насторожилась: никому не известный первокурсник зачем-то решил выступить. Моя речь не отличалась оригинальностью. Я попросил объяснить, как получилось, что в течение одной недели были написаны две не только не совпадающие, но противоположные рекомендации-характеристики, зачитав их. Что началось! Факультетские секретари комсомола кричали, что виноваты они, Фаина Цитрина всю вину взяла на себя. Так собрание закончилось ничем. Ко мне подошел Борис Бернштейн, студент III курса искусствоведческого отделения, с которым мы раньше познакомились. Он сказал, что мое выступление — парламентский демарш с предъявлением скандальных документов, добавил: «Фаину жалко, она приличный человек». Я возразил, что приличные люди так не делают. Он ответил, что всё гораздо сложнее. Ему эта сложность была уже ясна (Цитрина еврейка), а я прозрел через пару месяцев. Но так или иначе, это мое выступление сделало меня известным всему факультету — и студентам и преподавателям.

Именно в связи с этим уместно остановиться на проблемах оценки мной существовавшего режима и набиравшей силу антисемитской кампании. Еще с юности, т.е. с того времени, когда я стал осознавать настроение в семье в отношении к этому режиму, я чувствовал, что оно было осторожно неодобрительным. Вероятно, это было связано с курсом власти на ограничение евреев в правах, в занятии определенных должностей. Отец, вернувшись с войны, говорил, что это стало с 1943 г. ощущаться даже на фронте. Когда же я стал студентом, государственный антисемитизм стал ощущать и среди некоторых преподавателей. Примерно с 1949 г. стала явной селекция при приеме на факультет, переросшая в негласный запрет на зачисление евреев. Что касается настроений в семье, весьма показателен эпизод, ставший известным значительно позднее. У меня дома нечасто бывали два бывших однокурсника — Виктор Шейнис

и Радик Цимеринов. При них за обедом шел обычный застольный разговор о текущих событиях. Родители говорили свободно, исходя из того, что я не мог пригласить людей чуждых взглядов и намерений. Святая простота! Лет через 25 они признались мне, что обсуждали между собой вопрос, не следовало ли сообщить «куда следует», чтобы оградить меня от дурного родительского влияния. Помнится, я сразу же сказал жене, чтобы она их не звала в гости и не заговаривала с ними при случайных встречах. Но каковы? Мы могли все трое оказаться в лапах КГБ, а малолетний брат — в детском доме, в лучшем случае[14].

Конечно, постепенно во мне нарастало осознание того, что сталинский режим противоестественен и, как я надеялся, недолог. В декабре 1949 г. широко праздновалось 70-летие Сталина с приездом почти всех руководителей компартий. Произносились льстивые речи. Но Сталин весь вечер просидел молча, даже не поблагодарив гостей. Уже одно это наталкивало на мысль, что он болен. С другой стороны, всевластие КГБ вызывало опасение, что конец самого Сталина может вызвать хаос в стране.

Сама власть всё делала для прозрения людей. Дискредитация Анны Ахматовой и М. Зощенко в 1946 г.; лысенковская сессия; погром выдающихся кинематографистов и композиторов и т.д. и т.п. были хорошей школой воспитания меня еще до моего поступления на истфак. Когда же я окунулся в проработочные кампании в университете, процесс моего политического воспитания в основном был завершен.

1949 г. в этом плане был для меня переломным. В конце января началась травля театральных критиков-евреев (Гурвич, Зелинский, Малюгин, Боядинов и ряд других) с откровенными антисемитскими выпадами в печати («Крокодил» и др.); фактически публичная антисемитская пропаганда была легитимизирована[15]. Раздавались голоса, что Сталин об этом не знает. Для меня эти успокоительные вопли казались безумными, порожденными непониманием ситуации. Весной был снят с поста декана истфака В. В. Мавродин. В это же время началось т.н. «ленинградское дело», но я почему-то не связал его с «делом» Мавродина. Лишь позднее я узнал, что он был близок к ректору Вознесенскому, родному брату члена политбюро и председателя Госплана, которые и многие другие партийно-хозяйственные функционеры были расстреляны по т.н. ленинградскому делу. Теперь оно неплохо исследовано.

На этом мрачном фоне диссонансом стало чествование Б. А. в университете 26 февраля 1949 г. в связи с 60-летием. Он был, как потом оказалось, в высшей степени возбужден и приближением этой «экзекуции», как он говорил, и поздравительными письмами, и телеграммами, исходившими от бывших и настоящих студентов университета, прошедших через его просеминары, семинары, спецкурсы и т.д. Это возбуждение подпитывалось выступавшими с приветствиями коллегами, сотрудниками других академических институтов, в частности ИИМКа, Пушкинского дома, филфака ЛГУ, пединститута им. Герцена и многих других. Впрочем, с краткой вступительной речью выступил

Дмитрий Сергеевич Лихачев, который обрисовал творческий путь Б. А., особо выделив недавно вышедшую в издательстве университета книгу «Люди и нравы древней Руси»[16], к которой сам Б. А. относился по-особому. Теперь-то я понимаю, что он отражал характерологические особенности его самого.

С особым энтузиазмом поздравляли юбиляра студенты. Как вспоминал Саша Фурсенко[17], тогда третьекурсник, а теперь, к сожалению, ушедший от нас, юбиляр во время приветствий «терял над собой контроль», «постукивал машинально рукой по столу, и слезы лились из его глаз». От нашего (первого) курса выступал Радик Цимеринов, а я вручал ему подарок — какие-то альбомы в двух томах. Помнятся выступления Дины Сот — аспирантки Б. А., М. К. Артамонова, Коли Носова. В заключение выступил сам Б. А. Он произнес явно экспромтом, в обычной для него импровизационной манере пространную...[18]

После снятия В. В. Мавродина с поста декана истфака на его место был назначен мрачный сталинист Н. А. Корнатовский. В это время из Москвы стали приходить сообщения об «антикосмополитическом» погроме в МГУ и Институте истории. Раня[19] считает, что в конце марта была дана команда (якобы Сусловым) умерить публичную антисемитскую кампанию. Но в Л[енингра]де она только началась в университете и в академических институтах. В частности, на истфаке 4 и 5 апреля 1949 г. прошло заседание против космополитизма, буржуазного объективизма и преклонения перед «иностранщиной». Основной доклад было поручено произнести В. В. Мавродину. Он был встречен студенческой аудиторией бурными приветствиями и аплодисментами. Это воспринималось как вызов новому руководству факультетом. Его доклад отличался тем, что в нем не было озлобления. Правда, упоминался космополитизм, но не ленинградские, а московские историки — Минц, Разгон, Рубинштейн, кто-то еще. Позднее он говорил мне, что поручение произнести это было своего рода тестом на верность партийной линии. Впрочем, это не помогло и вскоре В. В. Мавродин был уволен из университета и потерял тем самым городское служебное жилье во дворе университета. В этом доме жил и Вознесенский. Хорошо, что у него была дача в Зеленогорске, где и стала жить его семья. На один год он уезжал работать в Петрозаводск, но это ему не помогло. В. В. Мавродин был исключен из партии и уволен отовсюду. Думаю, у него были денежные запасы, т.к. он много занимался «отхожим промыслом» — писал и издавал популярные книги, не глубокие и во многом повторяющиеся.

На этой конференции подлинному разгрому подвергся известный античник С. Я. Лурье, работавший и на истфаке, и на филологическом факультете. Безобразно выступила К. М. Колобова, прочитавшая разоблачительное письмо, якобы больного С. И. Ковалева, а затем добавила «от себя», что прежде ценила С. Я. как ученого, а теперь прозрела и поняла губительность его работ, а, следовательно, и преподавания[20]. Само собой, его уволили из университета, и он стал безработным профессором. Вслед за тем был уволен из Академии художеств и из Пединститута его сын кандидат исторических наук Я. С. Лурье. Кроме этого беспощадной критике подверглись и другие преподаватели истфака. Впрочем,

я об этом написал в книге о Б. А. Романове, изданной в 2000 году. Память мне изменила, в результате чего я одобрительно отозвался о М. С. Кагане, который якобы отверг обвинения в космополитизме и держался независимо. Меня поправили в книге о кафедре истории средних веков В. А. Якубский и его соавтор. На этой конференции неодобрительно отозвались и о Б. А. Романове, допустившем объективизм в книге о дипломатической истории русско-японской войны. Но он на этом заседании отсутствовал, т.к. лежал в это время в больнице[21].

*–...подвергался в 1939 г. высылке на 101 км. Только в 1941 г. Б. А. Романов был принят на работу в ИИМК, а в 1944 г. перешел в Ленинградское отделение Института истории АН СССР. После войны были опубликованы его монографии «Очерки дипломатической истории русско-японской войны» (М.; Л., 1947), комментарии к Правде Русской (1947), к Судебнику 1550 г. (1952), ряд статей. Исследования Б. А. Романова основывались на блестящей источниковедческой технике, отличались новаторством, отточенным литературным стилем, парадоксальностью, оригинальностью. Он опережал свое время, в котором ему приходилось жить и творить и как историк, мыслитель, гражданин, личность[22].

В период недолгого преподавания в Ленинградском университете (1944–1950) Б. А. Романов создал школу, воспитав замечательных историков, ставших академиками (Б. В. Ананьич, А. А. Фурсенко) и членами-корреспондентами РАН (Р. Ш. Ганелин). Своим учителем Б. А. Романова считал и Н. Е. Носов, долгое время занимавший пост заведующего ЛОИИ (ныне С.-Петербургский институт истории РАН).–**

---

1 *Ганелин Р. Ш.* Советские историки: о чем они говорили между собой. СПб., 2006.

2 *Панеях В. М.* Творчество и судьба историка: Борис Александрович Романов. СПб., 2000.

3 *Знак вопроса стоит в ркп.*

4 *Далее идут 4 зачеркнутые строки*: Папа определенно считал, что она вскоре вспыхнет. Он был возмущен заключением мирного договора с нацистской Германией, тем более договора о дружбе и сотрудничестве.

5 *Знак вопроса стоит в ркп.*

6 *Далее зачеркнуто* Вероятно это обстоятельство повлияло и на наши с ним отношения.

7 *После этого в ркп идут несколько зачеркнутых строк*: В августе 1944 г. мы вернулись в Ленинград, отец по-прежнему был на фронте, теперь (с взятия нашими войсками Воронежа) на Степном фронте, впоследствии преобразованном в 3-й Украинский, и закончил ее (войну. — *В. В.-Л.*) в Будапеште.

8 *Зачеркнуто* весьма сомнительной.

9 *Далее текст, ограниченный знаками *–**, практически совпадает с описанием первой встречи с Б. А. Романовым в книге В. М. См. примеч. 2. Случаи расхождения (кроме явно редакционных перестановок слов) будут отмечены.*

10 *В книге В. М. далее идет: «от которого опускался черный шнурок, приколотый миниатюрной булавкой к узкому черному галстуку».*

11 *В книге В. М. далее идет: «Мы не слышали звонков на перерыв и об окончании занятий».*

12 *В книге: «одной только ст. 1»*

13 Радий Цимеринов (1930–2017). См. некролог «Радик Цимеринов. Прощание», помещенный В. Шейнисом и А. Назимовой в блоге А. Н. Алексеева 20.08.2017 на Cogita!ru.

14 См. упоминания о В. Л. Шейнисе и Р. Цимеринове в книге В. М. о Б. А. Романове в положительном контексте как об учениках Б. А. Романова, а о В. Л. Шейнисе и как о корреспонденте самого В. М.: *Панеях В. М.* Творчество и судьба историка. С. 271, 337.

[15] *Так в ркп.*
[16] См.: *Романов Б. А.* Люди и нравы древней Руси (историко-бытовые очерки XI–XIII). Л., 1947.
[17] А. А. Фурсенко.
[18] *Здесь текст ркп оборван.*
[19] Р. Ш. Ганелин.
[20] *Панеях В. М.* Творчество и судьба историка. С. 335.
[21] *На этом заканчивается основной текст. Далее под знаками *–** нами воспроизведена страничка без начала, приложенная к нему.*
[22] *Конец предложения зачеркнут:* время идеологического гнета, принудительного единомыслия, проработок и репрессий.

References
GANELIN R. Sh. *Sovetskie istoriki: o chem oni govorili mezhdu soboy*. St Petersburg, 2006.
NAZIMOVA A., SHEYNIS V. "*Radik Tsimerinov. Proschanie*" // Cogita!ru [blog A. N. Alekseeva]. 2017. 20.08.
PANEYAH V. M. *Tvorchestvo i sudba istorika: Boris Aleksandrovich Romanov*. St Petersburg, 2000.
ROMANOV B. A. *Lyudi i nravy drevney Rusi (istoriko-byitovyie ocherki XI–XIII)*. Leningrad, 1947.

Список литературы
Ганелин Р. Ш. Советские историки: о чем они говорили между собой. СПб., 2006.
Назимова А., Шейнис В. «Радик Цимеринов. Прощание» // Cogita!ru [блог А. Н. Алексеева]. 2017. 20.08.
Панеях В. М. Творчество и судьба историка: Борис Александрович Романов. СПб., 2000.
Романов Б. А. Люди и нравы древней Руси (историко-бытовые очерки XI–XIII). Л., 1947.

В. Г. Вовина-Лебедева. Попытка самоанализа: о несостоявшихся мемуарах В. М. Панеяха

В. Г. Вовина подготовила к печати незаконченные мемуары своего учителя, известного историка и многолетнего сотрудника СПбИИ РАН В. М. Панеяха, посвященные детству, школьным годам в эвакуации и послевоенном Ленинграде и началу обучения на историческом факультете Ленинградского университета. В своих воспоминаниях В. М. уделяет внимание некоторым коллегам и преподавателям университета, например В. В. Мавродину, и также своему учителю Б. А. Романову. Публикация снабжена вводной статьей и постраничными примечаниями по воспроизведению текста.
Ключевые слова: Б. А. Романов, исторический факультет Ленинградского университета, Л. Е. Кертман.

V. G. Vovina-Lebedeva. An attempt of introspection: about the failed memoirs of V. M. Paneyakh

V. G. Vovina prepared the publication unfinished memoirs of her teacher V. M. Paneyakh — a well-known historian, a long-time member of St. Petersburg Institute of History RAS — devoted to his childhood, school years in evacuation and post-war Leningrad and the beginning of his studies at the historical faculty of the Leningrad University. In this memoirs V. M. mentioned some colleagues and professors of the university, for example, V. V. Mavrodin, and especially Paneyakh's teacher B. A. Romanov. The publication is provided with a preface and with notes about the reproduction of the text.
Key words: B. A. Romanov, Faculty of History, Leningrad University, L. E. Kertman.

Вовина, Варвара Гелиевна — д. и. н., ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН.
Vovina, Varvara — Dr, Leading Researcher, St Petersburg Institute of history, Russian Academy of Sciences.
e-mail: varvara_vovina@mail.ru

УДК 930
DOI: 10.24411/2311-603X-2018-00083

Е. А. Ростовцев

В. М. Панеях как историограф и историк науки[1]

Виктор Моисеевич Панеях (1930–2017) — крупный российский историк, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН. Различные аспекты творчества и научной деятельности В. М. Панеяха привлекали внимание и при жизни ученого — включая отклики на его труды, посвященные ему юбилейные публикации[2]. Кончина Виктора Моисеевича стала основанием для появления серии мемориальных публикаций[3]. Однако осмысление научного наследия В. М. Панеяха еще впереди. Настоящую статью автор рассматривает как попытку начала исследования одной из наиболее важных сторон творчества Панеяха, связанную с его работами в области историографии и истории исторической науки.

В. М. Панеях оставил более 200 научных работ. Из них почти половина (примерно 90) текстов посвящена в значительной степени интересующему нас проблемному полю. При этом количество публикаций, имеющих непосредственное отношение к истории науки и историографии, непрерывно нарастает с конца 1970-х гг.[4] Некоторые из этих работ были переизданы автором в 2005 г. в сборнике «Историографические этюды»[5]. С моей точки зрения, условно можно выделить два периода творчества В. М. Панеяха как историографа: *первый период* — с начала 1950-х до середины 1990-х — когда работы по истории науки и историографии занимали важное, но всё же периферийное место в его творчестве, и *второй период* — с середины 1990-х до самых последних лет жизни — когда они стали центральными. В то же время следует подчеркнуть единство историографических штудий В. М. Панеяха, которые отражали развитие его взглядов на отечественную историческую науку и становление концепции ее истории.